

Мордовка. Максим Горький gorkiymaxim.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

Мордовка. Максим Горький

По субботам, когда на семи колокольнях города начинался благовест ко всеобщей, – из-под горы звучным голосам колоколов отвечали угрюмым воем сиплые гудки фабрик, и несколько минут в воздухе плавали, борясь, два ряда звуков странно разных: одни – ласково звали, другие – неохотно разгоняли людей.

И всегда, по субботам, выходя из ворот завода, Павел Маков, слесарь, ощущал в душе унылое раздвоение и стыд. Он шёл домой не торопясь, позволяя товарищам обгонять себя, шёл, пощипывая острую бородку, и смотрел виноватыми глазами на гору, покрытую зеленью, увенчанную пышной грядкой садов. Из-за тёмного вала плодовых деревьев видны серые треугольники крыш, слуховые окна, трубы, высоко в небо поднялись скворешни, ещё выше их опалённая молнией чёрная вершина сосны, а под нею – дом сапожника Васягина. Там Павла ждут жена, дочь и тесть.

- Оом-оом... - внушительно течёт сверху.

А внизу, под горою, сердитый рёв:

- У-у-у-у...

Сунув руки в карманы штанов, наклонясь вперёд, Павел не спеша идёт в гору по взъезду, мощённому крупным булыжником, – товарищи, сокращая путь, прыгают, точно чёрные козлы, по тропинкам через огороды.

Литейщик Миша Сердюков кричит откуда-то сверху:

- Павел – придёшь?

- Не знаю, брат, может быть... – отвечает Павел и, остановившись, смотрит, как рабочие, спотыкаясь, преодолевают крутую, обрывистую гору. Звучит смех, свист, все рады праздничному отдыху, чумазы лица лоснятся, задорно блестят белые зубы.

Трещат плетни, огородница Ивановна встречает заводских – как всегда гнусавой руганью, а солнце, опускаясь за рекой в далекий княжий Бор, окрашивает лохмотья злой старухи в пурпур, седые волосы её – в золото.

Снизу пахнет гарью, маслом, болотной сыростью, а гора дышит пряными запахами молодых огурцов, укропа, чёрной смородины; в соборе уже весело перезванивают, и ругань старухи тонет в говоре колоколов.

"Да-а, – тяжело думает Маков. – Очень стыдно, когда слабость характера, – это очень стыдно!.."

Взойдя на гору, он смотрит вниз: там торчат пять труб, словно выпачканные тиной растопыренные пальцы чудовища, утонувшего в заречных болотах.

Пересечённая зыбкими островами, узкая, капризная река – вся красная, и среди малорослого ельника болот тоже горят красные пятна: вечернее солнце отражается меж кочек в ржавой воде.

Жалко солнечных лучей, – болото от них не красивает, они бесследно тонут в кислой, гниющей воде бочагов.

"Надо идти!" – приказывает Маков сам себе.

Но – задумчиво стоит еще минуту, две...

У ворот дома его встречает Васягин – человек костлявый, лысый и кривой. Чтобы скрыть безобразную яму на месте правого глаза, он, выходя на улицу, надевает тёмные консервы, и за это слобода прозвала его Пучеглазым Вальком. Под горбатым носом у него беспорядочно растут жёсткие, седые волосы, в праздник он придает им вид усов, склеивая чем-то, отчего губы Валька, съевшись, принимают такую форму, точно сапожник непрерывно дует на горячее.

Но сейчас его рот раздвинул любезной улыбкой, и Валёк шепчет зятю:

- Паз-звольте субботнее!

Павел, сунув ему двугривенный, идёт на маленький дворик, заросший травой: в углу двора, под рябиной, накрыт стол для ужина, под столом старый пёс Чуркин выкусывает репы из хвоста, на ступенях крыльца сидит жена, широко расставив ноги; трёхлетняя дочка Оля валяется на притоптанной траве – увидела отца, протягивает грязные лапки, растопыривая пальчики, и – поёт:

- Папа-па! Папа приша-а!

- Что поздно? – спрашивает жена, подозрительно оглянув его. – Все ребята давно уж прошли...

Он незаметно вздыхает, – всё как всегда. И, щёлкая пальцами под носом дочери, виновато косится на выпуклый живот жены.

- Умывайся скорее! – говорит она.

Он идёт, а вслед ему градом сыплются ворчливые слова:

- Опять отцу на водку дал? Тыщу раз просила – не делай этого! Ну конечно, что же для тебя все мои слова... я – не из товарок, по собраниям ночами не шляюсь, как ваши блудни...

Павел моется, стараясь набить себе в уши побольше мыльной пены, чтобы не слышать эти знакомые речи, а они сухо вьются около него и шуршат, подобно стружкам. Ему кажется, что жена строгаёт сердце его каким-то глупейшим тупым рубанком.

Он вспомнил первые дни знакомства с женой: ночные прогулки по улицам города, в морозные лунные ночи, катанье на салазках с горы, посещение галёрки театра и славные минуты в залах кинематографа, – так хорошо было сидеть во тьме, плотно прижавшись друг ко другу, а перед глазами трепещет немая жизнь теней, – трогательная до слёз, до безумия смешная.

Тогда были тяжёлые дни: он только что вышел из тюрьмы и увидел, что всё разбито, затоптано, восторженно рукоплескавшие – злобно свищут тому же, что вызывало их восторг...

Кудрявая сероглазая Ольгунька треплется около его ног, распевая:

- Па мина лубить, па – куку кубить и лосаду кубить, затла, за-атла...

Он стряхивает с пальцев воду в личико дочери – девочка хохочет и катится прочь от него, он ласково говорит жене:

- Брось, Даша, не ворчи!

Ольгунька с трудом поднимает вверх тяжёлую старую голову Чуркина, приказывая ему:

- Смотри! Ну, смотри-и!

Пёс нехотя мотает головой – насмотрелся он! И, широко открыв пасть, коротко воет.

- Когда муж такой разумник, что ему товарищи дороже семьи... – неуёмно строгаёт душу жена. Павел стоит среди двора, в открытую калитку видна бесконечная лесная даль. Когда-то он сидел с Дашей на лавочке у съезда и, глядя в эту даль, говорил:

- Эх, заживём мы с тобой...

"Это потому, что она теперь беременная", – утешает он себя, взяв дочь на руки.

Маков молча садится за стол, дочь влезла к нему на колени, расправляет пальчиками влажные кудрявые волосы бороды отца и бормочет:

- Оля затла поша и папа, и мама дале-око! На исвочике - ну-у!

- Перестань, Олька! Надоела ты мне за день! - сурово говорит ей мать.

Павлу хочется треснуть жену по лбу донцем своей большой ложки, треснуть так, чтобы звучно щёлкнуло на весь двор, чтобы и на улице слышен был этот сочный звук. Но он сдерживает своё желание, хмурясь и укоризненно напоминая себе:

"Сознательный человек..."

Пришёл тесть, сел за стол и, блаженно растянув тонкие свои губы по костлявому лицу, вытащил из кармана полубутылку.

- Начинается! - говорит Даша, фыркая, точно кошка. Маков опускает голову, чтобы скрыть улыбку: ему знаком ответ Валька:

- Не начамши - не кончишь!

Так и есть. Одиноким глаз старика смешно вертится, следя, как булькает водка. Выпив, он смачно щёлкает языком, Чуркин назойливо смотрит в лицо ему, - и сапожник говорит собаке:

- Тебе - не дам. Будешь водку пить - ругать тебя будут.

И эти слова тоже знакомы Павлу. Тут - всё насквозь знакомо.

Жена ворчит:

- Мечешься, мечешься день-деньской, - шить, стряпать, стирать, - а она, дрянь, кричит через забор - огурцы воруют...

Она - большая, пышная, лицо у неё круглое и такой славный, белый, гладкий лоб. Уши маленькие, острые и приятно шевелятся.

Но сейчас она не очень красива: нечёсаная голова кажется огромной, спутанные, не однажды склеенные потом и пылью волосы закрывают лоб и уши, нос, раздуваясь, сердито сопит, а большие красные губы - словно опухли со зла. Когда прядь волос лезет ей в рот - Даша откидывает её прочь черенком ложки. Замазанная кофта разорвана подмышкой, плохо застёгнута на груди. Розовые круглые руки, по локоть голые, расписаны тёмными полосами грязи. И на крутом подбородке висит рыжая капля кваса.

"Причесаться, умыться недолго", - мельком соображает Павел.

Она причешется завтра, после обеда, наденет полосатую жёлто-зелёную кофту, лиловую юбку. Юбка вздёрнется на животе у неё, и будут видны полусапожки на пуговицах и даже полоска чулок - чёрных, с жёлтыми искрами, - это её любимые чулки, она очень радовалась, когда купила их.

Вечером она, рядом с ним, понесёт живот свой по главной улице города, губы её строго поджаты, брови внушительно нахмурены. Всё это делает её похожей на лавочницу, и - когда встретятся товарищи - Павлу будет казаться, что в глазах у них играют насмешливые и обидные искорки.

Ему становится жарко, точно кто-то невидимый, но тяжёлый противно обнял его душным, тёплым объятием; ему хочется думать о другом - думать вслух.

- Сегодня в обед Кулига, табельщик, рассказывал о французских электротехниках...

Жена начала есть более торопливо, а тесть - медленнее. Губы его вздрагивают, а лицо и лысина наливаются тёмным смехом.

- Это - организация! - мечтательно говорит Павел.

- Ну, а как в Германии? - сладковатым голосом спрашивает Валёк, поднимая глаз в небо.

Мордовка. Максим Горький gorkiymaxim.ru

- Там - хорошо; там партийный аппарат работает, как машина...

- Слава те господи! - говорит старик. - А я уж беспокоиться стал - всё ли, мол, в порядке, у немцев-то?

Голос Валька взвизгивает, а Павел - смущён: он уже знает слова, которые посыплются сейчас сквозь тёмные, расшатанные зубы старика. Вот он надул щёки, склонил голову вбок, как ворона, и, упираясь глазом в лицо зятя, - тонким голосом ехидно поёт:

- Стало быть - всё превосходно в Германии? А - в кармане?

И хохочет, подпрыгивая на стуле. Ольгуньке тоже весело, она хлопает в ладоши, роняя ложку под стол, мать щёлкает её по затылку и кричит:

- Подними, дрянь!

Девочка плачет, тихо и жалобно, отец, прижав её к себе, оглядывается: уже сумерки, час, когда тёмное и светлое, встретясь, сливаются в серую муть. Где-то поют холостяки, доносится назойливый звук гармонии, а вокруг Павла, точно летучие мыши, вьются слова тестя:

- Нет, вы не о Германии, а о кармане пометайте, я вас прошу! Женились - так уж вы о кармане, пожалуйста, да-а! Уж если дети посыпались - устройте для них прочное отечество, а оно - на кармане, на тугом, строится, да, да!

Маков, укачивая задремавшую дочь, думает о тесте: четыре года тому назад он знал Валька другим человеком, помнит, как на митинге в кирпичных сараях сапожник, смахивая с глаз мелкие слёзы, кричал:

- Ребята! Жалко вас - ну, всё равно! Ходи прямо! Бодро ходи! Вот - мы себя жалели, жили, как приказано, - оттерпели за вас, - вам теперь страдать, за детей ваших...

И ему, Павлу, сапожник сказал однажды:

- Гляжу я, брат, на тебя, слушаю, жалею, что не сын у меня, а дочь! Эх, вот бы мне такого сына...

Но с того времени, как городские патриоты вышибли Вальку правый глаз, старик круто повернул назад.

"Он не один перевернулся", - грустно думает Павел.

Жена резкими движениями собирает со стола грязную посуду, гремят тарелки, падают ложки, и она кричит:

- Подними! Знаешь, что мне наклоняться трудно.

- Не-ет, вы политику оставьте иностранным державам, а сами семейным дельцем займитесь!

Маков несёт в дом заснувшую дочь, скрипят ступени крыльца, и, в тон им, скрипит жена:

- Кабы не глупости эти...

- Да, да, да! - стучит деревянный голос тестя.

Из-за чёрных деревьев поднимается в небо красноватый шар луны; Павел Маков сидит на ступенях крыльца, рядом с женою, гладит волосы её и почти шёпотом говорит ей:

- Если случится, посадят меня в тюрьму - товарищи тебе помогут...

- Как же, дожидайся! - фыркает Даша.

- Нам всем - необходимо стремиться к организации...

- Стремись. А на что женился?

В голове и груди его сверкают дорогие ему мысли, он не слышит тоскливых возражений Даши, она не слушает его.

- Не говори ты мне чепухи своей! Ты, бывало, до ста рублей приносил в месяц, а теперь - что?

- Это не моя вина, тут общие условия...

- А ты плюнь на условия... брось товарищей и работай...

Она желает говорить ласково, убедительно, но - устала за день, и ей хочется спать. Четвёртый год тянутся эти разговоры, ничего не изменяя, она жалеет мужа, боится за него, он почти такой же добрый и глупый, каким был всегда, и такой же упрямый. Она знает, что не одолеть ей этого упрямства, и всё круче в груди у неё скапается страх за себя, за дочь. Жалость к мужу растёт, становясь угнетающей, но, не находя слов, в которых могла бы выразиться, перекипает в злобу.

А он смотрит, как по двору ползёт к его ногам тень рябины, простираются, жадно вздрагивая, бесчисленные острые пальцы, и, уходя всё дальше в будущее, таинственно сообщает жене:

- Видишь вот: уже во Франции...

- Отстань! - угрюмо останавливает она и, закинув голову к небу, почти кричит придавленным голосом: - Ведь не дожить, - ведь дети...

Он молчит, сброшенный с отдалённых, светлых высот на маленький двор, в тесный круг каких-то кривых клетушек.

Ей хочется плакать, но раздражение сушит слёзы, и только в горле у неё клокочет, когда, тяжело встав на ноги, она говорит:

- Я - спать. А ты, чай, к товарищам?..

- Да, - не сразу отвечает он.

Уходя, она громко ворчит:

- Хоть бы переловили скорее вас, окаянных, - один конец! Может, умнее станете...

Луна уже высоко, и тени короче. Лают собаки.

И распутная баба Фенька Луковица орёт где-то на огородах пьяным, рыдающим голосом:

Мил-лай мой по Волге плавал...

У-утонул, паршивый дьявол...

Иногда такие беседы разрешались бурно: Даша кричала, задыхаясь от злого возбуждения, взмахивала руками, её большие груди нехорошо тряслись под грязной кофтой, - Павлу было тошно смотреть на неё в такие минуты, и, молча отмахивая от себя обидные, грубые слова, он недоуменно думал:

"Как же это я не видел, что она такая?"

И вот, после одной из таких сцен, с ним случилось то, что раздвоило ему душу и уже более года мучило фальшью, которой он стыдился, но - не мог устранить её.

Как-то, в субботу, он принёс мало денег, и это взорвало жену: она швырнула деньги на пол и заорала на него, а когда он, возмущаясь, сказал решительно и строго: "Молчать!" - она, толкнув его к двери, бешено крикнула:

- Вон, нищий! Дом - тятенькин, мой дом! А ты - проходимец, в тюрьме твоё место, - вон!

Мордовка. Максим Горький gorkiymaxim.ru

Он знал причину этого взрыва, – пришла пора капусту рубить, а денег на покупку её не хватало. Оскорблённый, не помня себя, он выскочил на улицу, долго сидел в чьём-то огороде, стараясь спрятать свою обиду и боль. Потом пошёл в город, там в грязнёньком трактире выпил водки и незаметно очутился в "Соборном сквере" – жалком садике около приземистого пятиглавого храма.

Дул ветер, какая-то верёвка касалась колоколов, извлекая из меди тихие вздохи. Вокруг собора, в кольце фонарей, дрожали огни, а над крестами глав неслись серые клочья туч, обнажая холодные синие ямы неба, и казалось, что потоки ветра льются со свистом оттуда, из этих окон, в пустоту.

Порою между тучами являлась испуганная луна, – тучи бросались на неё, как серая толпа нищих на гривенник, кинутый им, и растирали её по небу сырою тяжестью своею в жалкое, тусклое пятно. Ветер качал землю, как злая нянька люльку нелюбимого ребёнка.

Маков сидел на скамье, поддерживая руками охмелевшую голову, и бессвязно думал о злых шутках жизни: чем больше человек хочет хорошего, тем больше ему даётся плохого.

Кто-то сел рядом с ним, он поднял голову, – конечно, это была барышня, и ему показалось, что так и следует: кто же, кроме вора или проститутки, может подойти к человеку, одиноко сидящему ненастной ночью в пустынном месте?

О чём-то говорили, потом долго шли по улицам города, и всю дорогу Павел, охмелев, рассказывал о своей неудачной женитьбе, о том, что в жене он не нашёл родной ему души, пред которой он мог бы развернуть своё сердце.

Барышня сказала:

– Это часто бывает...

– Часто? – спросил Павел. – Почему ты знаешь?

– Жалуются часто...

Павел заглянул в лицо ей – ничего особенного, обыкновенное лицо гуляющей девушки.

И, вспомнив о жене, он злобно подумал: "На же тебе! Вот и пойду с этой..."

На квартире у неё он снова говорил о жизни, о своих думах, а потом лёг спать и заснул раньше, чем она пришла к нему.

Путру, сконфуженный, пил с нею чай, стараясь не смотреть в глаза девушки, и, уходя, предложил ей тридцать пять копеек – все деньги, какие были у него.

Но она спокойно отвела руку его в сторону и очень внятно сказала:

– За что же? Не надо.

Ему не понравился её жест, и слова тоже показались неприятными.

– Нет уж, пожалуйста, возьмите!

– Хорошо! – согласилась она, приняв две серебряные монетки. Но, дёрнув плечами вверх, снова повторила:

– Только – не за что ведь...

"Сейчас пригласит заходить к ней, – подумал Павел, надевая пальто. Скажет, как её зовут, когда бывает дома..."

А она, глядя куда-то в пол, под ноги ему, задумчиво сказала:

– Хорошо очень говорили вы вчера... про нашу сестру, про женщин...

Эти слова, польстив ему, на минуту погасили брезгливое чувство к ней. Виновато усмехаясь, он проговорил:

- Очень рад, коли так... Пьяный я был, - я ведь вообще-то не пью... Прощайте!
Она молча протянула руку.

На улице он подумал:

"Не позвала! Деньги не хотела брать - почему?"

Он не мог вспомнить своих речей, и даже лицо её неясно рисовалось перед ним.

Со смешанным чувством удовольствия и сожаления он, подходя к дому, подумал:

"Встречусь и - не узнаю её..."

Моросил дождь, пальто его намокло и давило плечи, голова болела, одолевало желание лечь спать.

Жена встретила молча, даже не взглянула на него. Он долго сидел в углу, глядя, как она сильными руками месит тесто и как на локтях у неё то появляются, то исчезают соблазнительно красивые ямки. И вся она такая дородная, крепкая.

Чтобы начать разговор, он спросил:

- А где Оля?

- Где! Чай, сегодня у добрых людей праздник, - в церковь с дедушкой ушла...

Павел миролюбиво сказал:

- Вот этого я не понимаю: зачем трёхлетнего ребёнка водить в духоту, по дождю.

И остановился, вспомнив, что он уже не однажды говорил именно эти слова в ответ на такую же фразу жены.

Тесто запищало под её руками ещё громче, и стол заскрипел.

"Сказать ей: вот до чего ты довела меня - видишь? Вот куда ты толкаешь, - сказать?"

Что-то вспыхнуло в нём, он подошёл к ней, положил руку на круглое её плечо.

- Не лезь! - крикнула она, стряхнув его руку, и покраснела так, что даже шея у неё налилась кровью. - Поди к чёрту, - а то так и тресну наотмашь!

Выпрямилась и, поправив волосы руками, выпачканными в тесте и муке, стала седая.

В дверь вошёл Валек с Олей на руках, снял очки и, сверкая глазом, возгласил:

- Бог милости прислал...

- Пап-пап! - закричала девочка.

Павел хотел взять её, но, вспомнив о том, где провёл ночь, угрюмо сгорбившись, пошёл мыть руки.

Целый день жена фыркала, а тесть неумоимо издевался:

- Что же, господин социал-политик, не жуёте пирог? Вы - жуйте, до победы рабочего сословия, когда у всех нищих пироги будут, - весьма ещё далеко!

- Вы бы не дразнили меня! - неохотно отозвался Павел. - Ведь ничего не выйдет из этого...

- Так. Верно! - соглашался Валёк. - Ничего не выйдет...

А через несколько минут - снова начинал:

- Сапожки ваши починил я - видели?

- Видел.

- Довольны?

- Спасибо.

- Дарья, - посоли спасибо, я его съем, когда жрать нечего будет...

По стёклам окна шаркал дождь, на чердаке метался ветер и стучал чем-то. Над крышею скрипела сосна, где-то бухала неприкрытая калитка, гремела щеколда и пела-плакала вода, стекая в кадку. В комнате было сумрачно, пахло печёным луком, кожей и смолой.

Маков видел, что дочь чувствует настроение: она смотрит на всех боязливо спрашивающими глазами и морщится, собираясь плакать.

"Что ж с ней будет?" - думал он, следя за ребёнком и чувствуя себя виноватым перед ним.

- Иди-ка ты ко мне, девочка! - позвал он её, простирая руки, но когда Оля побежала к нему, мать, поймав её, крикнула:

- Не смей!

Оля заплакала, ткнувшись личиком в колени ей, но мать, вскочив на ноги, оттолкнула её в угол:

- Иди, ляг, дрыхни! Чтобы не видать мне тебя...

Павел тоже встал. Лицу его было жарко, а по спине пробежал острый холодок.

- Если ты, - сказал он, подвигаясь к жене, - посмеешь ещё когда-нибудь...

Жена подставила ему лицо и шёпотом, полным боли и ненависти, просила:

- Ну - бей! Ну - ударь!

А тесть, схватив колодку, прыгал и орал:

- Вот оно-о! Вот она какая с-солидарнос-сть!

Павел оттолкнул жену и, схватив шапку, бросился вон. Бежал под дождём и с отчаянием думал:

"Не крикни он - я бы её..."

Встречу, обливая ноги ему, неслись ручьи грязной воды и ветер обдавал лицо холодной, колкой пылью осеннего дождя.

И вот он снова у этой девушки - сидит за столом, сбросив на пол мокрый пиджак, и, размахивая одной рукой, а другою потирая горло, торопливо говорит:

- Я - не зверь! Я понимаю - она не виновата...

Девушка озабоченно вертится по комнате, точно кубарь, подгоняемый невидимыми ударами; ставит самовар, ломает лучину о колено, шуршит углями, и всюду за нею развеваются, точно серые крылья, концы платка, накинутого на голые плечи.

- Вот я пришёл к вам, - у меня есть товарищи, а рассказать им об этом - стыдно, хотя и они тоже, наверное, знают такие дни, когда в доме все мучают друг друга, - за что? Скажите - за что?

- Я же не знаю, - услышал он негромкий ответ.

- Въедается всем эта гнилая жизнь в кости, в сердце, и - однажды вдруг душа занает, заболит скверною злостью...

Девушка подошла к нему, осторожно пощупала его рубашку и сказала, мигая:

- Мокрый вы, - а у меня ничего и нету... Как же?

- Бросьте! - попросил он, схватив её за руку.

Тихонько освобождая пальцы, она озабоченно продолжала:

- Простудитесь, захвораете! Рабочему человеку это беда!..

Освободясь - ушла в сени, но тотчас явилась снова, принесла какое-то цветное тряпье и, грея его над трубою самовара, равнодушно уговаривала гостя.

- Вы - переоденьтесь... это хоть и женское, да сухое...

И, бросив тряпки на стол, снова ушла в сени, а Маков смотрел вслед ей и точно сквозь сон сообщал:

"Судьба! Что за глупость - судьба? Просто - куда пойдёшь? А ей - всё равно".

Откуда-то со стороны подползали, извиваясь, едкие укоры, точно их тесть шептал тонкими губами:

"Что - прижало? Товарищи, а? Ты почему, в этот трудный час, к товарищам не прибежал, - ты бы к ним! Ага-а, - стыдно?"

Он крепко приглаживал свои ёжиком остриженные волосы и обиженно усмехался.

- Что же вы? - деловито спросила хозяйка, заглядывая в дверь.

Мокрое платье прилипало к телу, вызывая неприятный озноб. Павел быстро сорвал его и завернулся в длинные женские одежды.

- Вот и хорошо, - сказала девушка, входя.

- Смешно? - спросил он.

- Смешно, - согласилась девица, но на лице её не было и тени улыбки.

Павел впервые пристально и бесцеремонно осмотрел её: коренастая, маленькая, со скуластым лицом и узкими, невидными глазами.

- Смешно, а не смеётесь! - сказал он, оглядываясь.

В комнатке, наполняя всю её, стояли кровать, стол, два стула, шкаф и, около двери, большая печь. В переднем углу маленькая икона, над нею - ветка вербы с бумажным цветком, с чёрных стен смотрят пёстрые картинки, по ним ходят тараканы и шуршат. Из пазов на стенах торчат ключья пакли. Окно маленькое, квадратное, стёкла в нём мутные от старости.

Девушка, наклонившись над самоваром, не ответила Павлу - он почувствовал себя неловко и неприятно заметил сам себе:

"Глупая, должно быть".

А вслух спросил:

- Это - кухня?

- Да.

- Ещё кто-нибудь живёт в доме?

Она поставила кипящий самовар на стол, отрезала большой кусок ржаного хлеба и, наливая чай, рассказала тихо и так же однотонно, как шумел дождь за окном:

- Две старушки живут, - старые девицы. Только они не варят дома почти никогда,

Мордовка. Максим Горький gorkiymaxim.ru

ходят всё по богатым знакомым, там и кормятся. И не ночуют часто. Кроме хлеба – ничего нет у меня, – извините!

– Я не хочу есть, – сказал Павел, чувствуя, что ему становится всё более неловко: ну зачем пришёл сюда?

И вдруг, неожиданно для себя, спросил её строго и громко:

– Вы – записаны?

– Куда?

– В полиции?

Она спокойно ответила:

– Как же, – прописана! Я у них и за кухарку и за горничную. Делать-то днём нечего...

Павел почувствовал что-то неладное, непонятное...

– Я не про то спросил...

Она – догадалась. Её скуластое лицо потемнело, глаза совсем закрылись.

– Ах, – молвила она, --да-а... Это, что я на бульваре, вчера. Нет, я этим не занимаюсь...

Он не поверил. Откачнулся от стола и, улыбаясь, смотрел на неё – ему было смешно, что она скрывала своё ремесло, смешно и жалко её.

Косо поставленные глаза девицы вдруг раскрылись – они были голубые, тёплые и приятно освещали её скуластое лицо, немного скрашивая его.

– Это я так, вчера-то, – говорила она, отщипывая маленькие кусочки хлеба и скатывая шарики из них, – тоже тошно стало мне и – пошла. Может быть, – в реку бросилась бы даже, а тут – вы сидите. Вот, думаю, мужчина, а и ему тяжело! И – подошла. А вы сразу заговорили, я вижу – совсем вы не в себе. Показалось, что тоже грех задумали... Это почти каждый день бывает, стреляются, вешаются...

Он слушал, не зная – верить или нет, отмечал про себя:

"И пошла. И подошла. Бедно говорит. Скучная".

А девушка тем же ровным голосом, скупыми словами рассказывала: она мордовка, из зажиточной семьи, грамотная, училась в церковно-приходской школе. Пожар разорил семью, отец пошёл в Сибирь искать земли и – пропал, а её отдали в горничные на станцию, там она и жила три года. У начальника станции был брат, телеграфист.

– Когда вы говорите – совсем как он.

И снова, прикрыв глаза светлыми ресницами, она уверенно повторила:

– Совсем, совсем...

– А где он? – спросил Павел.

Девушка ответила не сразу:

– Заарестовали.

Грусти не слышно было в её словах, но она как-то странно повела шеей, – скулы её обострились и лицо вдруг стало похоже на морду собаки, готовой завывать.

Павел уже не думал, надо ли ей верить, – не хотелось думать об этом.

Вдруг она громко сказала:

- Был у меня ребёнок...

- От телеграфиста?

- Да. Мёртвенький.

- Телеграфист - хороший был парень?

Она широко улыбнулась.

- Да-а. Один был: он говорит - а все смеются. Так и увезли - одного. А меня - прогнали.

В трубе выл ветер, точно старый, бездомный пёс.

Жизнь стала насквозь фальшивой, и фальшь, точно ржавчина, выедала в душе Макова его уважение к себе.

Он любил жену - любил обнимать её большое, здоровое, тёплое тело, жадно зовущий взгляд её тёмных глаз имел над ним неодолимую власть.

Иногда, в добрый час, она говорила приглушённо и почему-то немного в нос:

- Чай, подошёл бы, да обнял, да поцеловал жену-то, капризник!

Были дни и недели, когда он почти забывал о тёмном, осевшем в землю домике на окраине города. И дом этот, похожий на землянку, с двумя полуслепыми окнами, с крышей, покрытой мохом, и тёмная комната, подобная норе, и жилища её - молчаливое, смиренное ночное животное - всё таяло в памяти его, становилось ненужным, и если иногда, на минуту, вставало перед ним, как скучный сон, - Павел удовлетворённо думал:

"Прошло!"

Сначала ему настойчиво хотелось рассказать жене обо всём этом - так рассказать, чтобы она почувствовала себя виноватой перед ним, чтобы поняла, чем грозит и ему и ей душевный разлад.

Но начать вести беседу об этом было боязно, часы, когда она была ласкова и доступна, проходили неуловимо быстро, а когда он издали начинал говорить о чём-нибудь, что не сразу касалось дома, она, сытая его ласками, утомлённо позёвывая, останавливала его речь сонным голосом:

- Ну-у, опять волынку эту заводишь...

И просила, приказывала:

- Люби ты меня без слов этих твоих...

Если же он продолжал - между бровей жены появлялась угрюмая морщина, глаза её смотрели светлее, суше, и она начинала раздражённо убеждать его:

- А ты брось, говорю, ты - подумай, дети у тебя! Будет книжек-то, целая полка их... И книжки и товарищи - всё это не надобно женатому... Ты погляди-ка, все семейные-то отстали от вас, работают себе, смиреннько, на жён, на детей. Один Сердюков с Машкой своей канителются между вами, так ведь он - разве чета тебе? Вон он - за прошлый месяц всего-на-всё тридцать шесть рублей принёс, оштрафован два раза...

Ревниво и тщательно собирая по слободе все сплетни, она знала много дурного о людях, никогда ни о ком не говорила хорошо и с наслаждением, захлёбываясь, высыпала на голову мужа целые мешки злорадного, часто лживого хлама.

- Неправда это, Дарья! - пробовал он останавливать её.

Она плаксиво возражала:

- Ну, конечно! Я знаю, товарищам ты веришь, а жене - нет...

Под тяжестью её речей из добрых намерений Павла как будто кровь вытекала, и, обессиленные, задавленные, они бесплодно погибали в его душе, всё более привыкавшей молчать перед женою.

Не отвечая ей, он слушал её речи и, тихонько посвистывая, сумрачно думал:

"Не понимает. Неужели так и не поймёт?.."

Хотелось какой-то особенно глубокой и полной женской ласки, такой, которая, зажигая тело, и душе помогала бы разгораться светлее, ярче. Но за ласкою для души надо было идти на край города, к некрасивой мордовке Лизе, которая умела и, видимо, любила слушать его рассказы о жизни и его мечты о будущем. Приятно было видеть человека, который сидит против тебя и, точно приходя в сознание после глубокого обморока, жадно, как воздух, глотает каждое слово.

В сухой груди её жило тоже что-то чужое, мало понятное Павлу – точно какая-то маленькая серая птица пела там иногда.

– Ты ходишь в церковь? – спросила она однажды, прижимаясь к нему.

– Нет. Видишь ли...

Павел долго и горячо объяснял ей, почему он не ходит в церковь, но когда он кончил, мордовка тихо заметила:

– То же и выходит: ты говоришь о мире на земле, и в церкви молятся "о мире всего мира"...

– Нет, подожди! Я говорю о борьбе...

– Так ведь для того борьба, чтобы все помирились...

Он снова возражал ей, горячась, размахивая руками, стучал кулаком по столу, замечал, что он всё лучше и легче выражает свои мысли, и, радуясь этому, увлекался ещё более.

А мордовка с тихим упрямством возражала:

– Нет, я люблю, когда дьякон басом таким густым говорит: "Мир мирови твоему даруй". Это мне всё равно, кто говорит, лишь бы люди слышали, нужен – мир!

И, стоя вплоть к нему, заглядывая в его глаза, она говорила тихо и боязливо:

– Ты погляди-ка: все – злые, везде дерутся! В трактирах, на базаре везде! Играть начнут – раздерутся, веселье затеют – раздерутся. В церквях и то – злятся, спорят о местах. Детей малых бьют. Арестуют людей и вешают. Убивают сколько! В полиции-то как бьют! И сами себя, – это ведь тоже – со зла, сами-то себя! Я вот со зла хотела тогда, на себя обозлилась: чего живёшь, дрянь? Добрых людей – совсем нет, и оттого страшно. Так, немножко их, где – один, где – другой, вовсе незаметно...

Он посмеялся над нею, но слова её были сказаны просто, без тени назойливости, без желания заставить принять их; они вызвали в душе Павла снисходительное чувство к ней и как бы протянули между её скромной верой и его суровым знанием некую тонкую нить, сближавшую их.

Много раз он возвращался к этой беседе, шутя и серьёзно, но всегда встречал гибкое сопротивление: мордовка не возражала ему, но и не убеждалась его доводами.

– Далеко смотришь, многого хочешь! – говорил он, смеясь. – Мира мы с тобой не увидим, нам жить в борьбе...

Подумав, она ответила:

– Коли знаешь, что завтра будет хорошо, так сегодня плохое не больно пугает, да и не сильным кажется...

Иногда, сидя у Лизы, Павел вспоминал жену: руки его становились вялыми, сердце обливалось горькой, жгучей влагой, он холодел и со стыдом, со злобой упрекал себя:

"Развитой человек и тому подобное. Обличаешь буржуазный разврат, а сам - вот оно..."

Но от этой обидной мысли в разные стороны и в глубину жизни шло много других дум, они были неясны, и о них хотелось говорить. Он снова развёртывал перед Лизой свое намученное сердце и говорил о жене, о том, что любит её, но что и без неё, без Лизы, - трудно ему.

- Так, как с тобой, я ни с кем не могу говорить. Есть, видно, у мужчины всегда что-то такое, что он может сказать только женщине, - а жене - я не могу. Товарищам тоже... Неловко, стыдно говорить о своём, личном, а молчишь о нём - мешает оно!

Она гладила его голову жёсткой ладонью, длинными пальцами худой руки и - слушала.

- Пробовал я говорить - отвечают по книжке, - книжку я сам прочитаю! Люди стыдятся говорить откровенно о себе... Многие, наверно, тем же болят, что и я, - тем, что нигде не написано, только в сердце написано, о чём стыдно сказать, а - надо выговорить это, ведь оно - мучает!

Перед ним сияли голубые глаза, и он забывал, что эти узкие глаза поставлены косо. Рука Лизы вздрагивала на голове или на плече у него, как бы отвечая его волнению.

Он сажал её на колени себе и с тоскою, со страстью, внезапно разгоравшейся, целовал её жёсткие горячие щёки и губы.

- Ничего, милый, - шептала она, всё шире открывая глаза. - Переживёшь, пройдёт...

Иногда он, положив голову на колени ей, крепко засыпал, и девушка сидела неподвижно до поры, пока не надо было будить его, - сидела и, точно нянька, тихо гладила его стриженую голову.

...Павел приносил газету, развёртывал на столе многоречивый пёстрый лист и, склонясь над ним, с некоторой торжественностью читал о товарищах Европы и всего мира, о неустанной их борьбе и работе, говорил о вождях партии, о неутомимых бойцах ежедневной войны.

Она сидела неподвижно, тихо и редко спрашивала его о чём-нибудь, но Павел был уверен, что мордовка всё понимает.

Он замечал, что, если речь идёт о героях и учителях, - её лицо странно напрягается и голубые глаза мерцают, точно у ребёнка, слушающего волшебную сказку. Иногда этот неподвижный взгляд был даже неприятен, напоминая о взгляде умной, преданной собаки, которая углублённо думает о чём-то, понятном только её немой, звериной душе. В такие минуты ему казалось, что эта тихая, коренастая девушка спокойно может сделать всё...

Она часто спрашивала:

- Как ты назвал имя-то?

Помолчав, отчётливо повторяла имя и снова спрашивала:

- А по-русски как будет?

- Не знаю. У нас нет эдаких имён.

- Разве не было у нас таких святых? - недоверчиво и невесело спрашивала она.

Павел - хохотал.

- Святые - это, брат, не по нашей части! Мы живём в аду, они у нас не водятся...
- Будут! - сказала однажды Лиза.

Это краткое слово прозвучало странно, точно первый, после полуночи, удар колокола, возвещающий во тьме ночной рождение нового дня. Павел посмотрел в лицо подружки - но не заметил в нём ничего особенного. Подумав, он осведомился:

- Ты что это имена спрашиваешь?

Опустив голову, она не ответила. Тогда он ласково приподнял её лицо и, смеясь, спросил ещё:

- Может - молиться собираешься за них? А?
- Что ж, - сказала она, - я и молюсь. Только я - без имён, а просто: помоги, господи, тем, кто добро делает для людей! Смейся, мне всё равно.
- Бесполезно это, Лиза!
- Кто как может, так и должен помогать хорошим людям.
- Полно, Лиза! Нет, тебе надо учиться иначе помогать...
- Выучусь - буду иначе...

И, прижавшись к нему, сказала:

- Это ведь ничего: обидеть их это не может...

Павел обнял её и замолчал, думая о чём-то неясном и большом.

Товарищи видели, что он прячет часть своего времени и от них и от жены, относит его куда-то в сторону, но - молчали, притворяясь, что верят его объяснениям.

Только весёлый литейщик Михайло Сердюков спросил однажды:

- Что, Паша, и ты сударушку завёл?

Застигнутый врасплох, Павел смущённо спросил:

- А кто ещё?

Рябой, вихрастый Михайло взмахнул обожжёнными руками и - захохотал.

- Ловко я тебя поддел! Что, брат, а? Ну, теперь я донесу жене на тебя...
- Нет, ты не говори! - серьёзно попросил Павел.
- Что дашь? Давай Некрасова, ну?
- Не дам. А сказать ей - сам скажу...

Сердюков удивлённо взглянул на него.

- Скажешь? жене?
- Ну да.
- Зачем?
- Надо же!

Михаил наморщил изрытый лоб, скосил глаза в сторону и вздохнул.

- Значит - серьёзно у тебя? Что ж - это хорошо! Всем видно - не пара она тебе. Она мещанкой родилась, это у неё - в костях. Чёрного кобеля не вымоешь добела -

Мордовка. Максим Горький gorkiymaxim.ru
и время зря тратить не стоит...

"Не понимает", - думал Павел.

- Ты её не любишь, - тихо сказал он.

- Верно! - насмешливо согласился Сердюков. - Это верно: я - другую люблю, не её...

Тогда Павел спросил:

- А ты - тоже?

- Что - тоже? Ах да...

Невесело усмехнувшись, литейщик просто сказал:

- Да, брат, и я тоже.

Павел удивлённо смотрел на него, осторожно спрашивая:

- Как же это? Вы ведь хорошо живёте... у тебя жена - товарищ...

- Вот то-то и есть, что товарищ! - сумрачно воскликнул Сердюков. - В этом и задача - она вон кашляет во всю силу, сохнет, товарищ-то...

Беседовали на дворе завода, у стены, покрытой копотью, где-то над ними непрерывно и сердито фыркала пароотводная трубка:

- Фух, фух.

Воздух, пропитанный копотью, был полон стенаниями, визгом и скрежетом, гулом огня, громом железа.

- В три года - две беременности, - печально ворчал Сердюков, свёртывая папиросу, - а это, оказывается, нашему сословию не подобает. Доктор говорит - воздержитесь. Н-ну, начал я избегать, - жалко ж её мне! Комедия слёзная, братец ты мой. Избегал, избегал, да вот и забежал куда-то... куда не надо бы. Пожалуй, будет у меня какой-нибудь скандал. А назад - ходы закрыты... И что значит - назад? Жене в деревню надо ехать, а не детей родить. Дети это, брат, не для нас, видно. Да и вообще - что тут для нас?

Он посмотрел вокруг на груды старого железа, на чёрную от угля землю и крыши цехов, курившиеся дымом и паром.

- Обыграли нашего брата чисто! И ни одного козыря в сдаче, - плохо, Паша!

Он бросил окурочек назад, через плечо, и пошёл в свой цех. Шёл незнакомо Павлу - наклоня голову - и всё оглядывался, точно боясь, что вдруг кто-то бросится на него. А когда он исчез в чёрном жерле литейной, Павел вспомнил его весёлым озорником, неунывающим краснобаем, театралом и певцом, вспомнил и - крепко задумался. Казалось, что с ним говорил сейчас кто-то другой и более близкий, чем прежний Сердюков. Он впервые слышал от товарища простые слова о том, что его мучило, и, стоя у станка, думал:

"Он теперь поймёт меня, сойду с ним поближе, и - кончено! Нехорошо я живу..."

Это не удалось: не прошло недели, как Сердюкова подняли в кустах около кирпичного завода - он был кем-то жестоко избит и надолго лёг в больницу.

- Вот жизнь! - говорил Павел, бегая дома по комнате. - Эх, жалко его, так жалко - ты представить не можешь, Даша! Такой он славный парень...

Сел рядом с нею и продолжал, понизив голос:

- Знаешь, недавно говорил он мне про жену...

- Ему бы, мерзавцу, молчать о ней! - угрюмо отозвалась Даша. - Знаю ведь я, за

что его избили...

- Подожди, Даша!

- Ты, конечно, всякого подлеца оправдать готов, коли он в товарищах у тебя...

Он строго сказал:

- Дарья! Среди моих товарищей нет подлецов!

- Не ори!

Несмотря на толчки её локтя, он обнял жену и рассказал ей о Сердюкове. Сначала это очень заняло её, но потом, возмущённо оттолкнув мужа, она начала ругаться:

- Ах, дохлые черти! Да неужто Марья-то знала про эти его шашни?

- Ты не вздумай сказать ей! - испуганно воскликнул Павел.

- А - скажу! А ей же богу - скажу! - смачно ухмыляясь, выкрикивала Даша. - До чего додумались-дочитались, пакостники! Натё-ка, жену жалко, родит часто, слышь! Тьфу!

В гневе она всегда выпрямлялась, закидывая голову вверх, дышала она в нос, и ноздри её раздувались, вздрагивая, точно у лошади. Всё это делало её ещё более соблазнительной, но - и отталкивало Павла прочь, будя в нём жгучее желание зла ей. Ему хотелось видеть её больной, жалкой и немой от какого-то страха или - нищей: ходит она по улицам, в грязных лохмотьях, униженно кланяется и просит милостыню у жены Сердюкова - тонкой, ловкой умницы, у тех людей, которые так чужды её сердцу, тяжёлому, тёмному и круглому, как чугунный шар.

Вечером в субботу Павел сидел у Лизы, тихо говоря:

- До того довели людей, что даже хорошее, человечье - кажется им грязно. Завязалась петля вокруг души моей, не знаю - как развяжу! Люблю я эту бабу и дочь, конечно, люблю, а - что она может дать дочери! И без тебя не могу, Лиза. Эх, мордовка, хорошая у тебя душа, и друг ты мне...

Она слушала его, опустив голову, и серьёзно, негромко вставляла свои скупые слова:

- Не знаю, как ты будешь. Не придумаю, чем тебе помочь...

Но - придумала.

Однажды, угнетённый новой ссорой с тестем и женой, Павел устало шагал по тихим улицам города мимо заборов, крепко запертых ворот и тёмных окон, за которыми пряталась от холодного света луны весенняя ночь.

"С одной стороны и с другой стороны! - думал он, то выходя на свет, то скрываясь в тени деревьев и домов. - Нет, надо всё это - к чёрту! Жизнь, как я хочу, или - любовь, как она хочет. Я - за жизнь... Довольно!"

Идти было трудно, точно ноги его вязли в тенях, как в сыпучем песке или в густой грязи. Он перешёл на другую сторону улицы, сплошь окропленную бледным сиянием луны.

Город неохотно засыпал беспокойным сном весенней ночи, но по улицам ещё бродили тёмные фигуры людей, точно искали чего-то, не надеясь найти. Проехал чёрный верховой, качаясь в седле, - подковы высекли две синих искры из камня.

Толстый полицейский вёл длинноволосого мастерового с ремешком на голове, мастеровой качался, грозил кому-то рукой и жужжал, как огромный шмель:

- Подожди, - я докажу...

Прошёл почтовый чиновник под руку с тоненькой барышней и оставил за собою странные слова:

- Приоткрыто, но - чуть-чуть, и никто не может пройти...

Сонно тявкали собаки, высовывая морды из-под ворот; церковный сторож не спеша отбивал часы: ударит раз и ждёт, пока звук не растает в голубом воздухе, как слеза в большой чаше студёной воды.

- Десять, - сосчитал Павел.

Пред ним встала маленькая мордовка в серой юбке и жёлтой кофточке, с кружевами на груди. Три кофточки было у неё, все жёлтые, разных оттенков, и все были - коротки ей: когда она поднимала руки - полы выскакивали из-за пояса, а когда наклонялась - на поясице было видно рубаху из ручного деревенского полотна. И юбка сидела на ней тоже неловко, криво.

"Волосы у неё хороши, - напомнил он сам себе, чувствуя желание найти в Лизе нечто равное красоте его жены. - Славные волосы, мягкие. И глаза тоже. Очень милые..."

Но кто-то протестующе возражал:

"А колени - острые. И плечи - тоже".

...Из окна Лизиной комнаты на него взглянула тьма: он прижался к стеклу лицом и начал, как всегда делал это, часто и дробно барабанить пальцами по жестяной трубе форточки, вертун в ней был выломан. Долго не отвечали, наконец чужой, слабый голос спросил в трубу:

- Кого надо?

- Лиза - дома?

Глухо ответили:

- Не живёт здесь она.

- Как это?

- Уехала она.

- Когда?

- Четвёртые сутки. Идите с богом.

- Позвольте! - громко сказал Павел, прижимаясь грудью к стене дома. Может, она велела сказать мне что-нибудь?

- А вы кто будете?

- Маков, Павел Дмитрич...

- Вам записка есть, - вот я её в фортку просуну...

Вспыхнул огонь и - погас.

Огонь снова вспыхнул, и окно стало похоже на большое, жёлтое лицо, крестообразно рассечённое чёрным шрамом.

Из форточки, шурша, высунулся белый уголок бумаги; Павел схватил его, развернул и, приложив к стеклу, прочитал большие неровные буквы:

"Павел Митрич, уважаемый мой человек полубила я вас очень а будет это не хорошо как с женой все равно. Потому что уж я начала тебе ревновать к нее а ее ненавижу а это тебе тоже самое потому уежаю неизвесно куды

Лисавета".

Он сжал записку в кулак, но тотчас снова расправил, посмотрев ещё на

Мордовка. Максим Горький gorkiymaxim.ru
разбежавшиеся по ней слова, – мелко разорвал бумагу и зло усмехнулся:

– Придумала, собачья морда...

Медленно сыпал клочья бумаги на землю, глядя в поле, – там было мёртво и пусто, как в душе, внезапно сжатой страхом.

– Дурочка...

Потом тихонько, задевая плечом заборы, пошёл в слободу, шёл и грустно жаловался:

– Эх, Лиза, – ну куда ты ушла?..

1911 г.

ПРИМЕЧАНИЕ

Впервые напечатано с подзаголовком "Рассказ" в журнале "Современный мир", 1911, номер 1, январь, и одновременно отдельным изданием за границей в издательстве И.П.Ладыжникова.

М.Горький писал В.А.Десницкому, что рассказ этот является одним из набросков к повести "Сын" (см. примечания к повести "Лето" в томе 8 настоящего издания). Рассказ "Мордовка" упомянут С.Г.Шаумяном в его статье, посвящённой М.Горькому (см. примечания к циклу "Сказки об Италии").

Рассказ включался во все собрания сочинений.

Печатается по тексту, подготовленному М.Горьким для собрания сочинений в издании "Книга".

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке

<http://gorkiymaxim.ru/> Приятного чтения!

<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.

<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин

<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.

<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография

<http://dostoevskiyfyodor.ru/>

сайт <http://petimer.com/> Приятного чтения!